

## ТРАПЕЗА И ИДЕНТИЧНОСТЬ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XVIII – ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX ВЕКА

Дечка Чавдарова

(Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“,  
България, 9712 Шумен, ул. „Университетска“ 115)

*Очень может быть, что различие в представлении о том, что смешно, а что не смешно, и есть самый главный критерий, отличающий одну цивилизацию от другой. Где-то я читал, что для японцев естественно смеяться над калекой или над поскользнувшимся и упавшим стариком; не берусь судить, насколько это верно. Но вот что я испытал на себе во Франции. Узнав, что я на завтрак ел артишок, мои французские друзья и коллеги нашли это чрезвычайно смешным; они рассказывали это друг другу, приглашая посмеяться вместе. Моему недоумению они не могли противопоставить ничего, кроме заявления, что **завтракать артишоком – это смешно**. Сам не знаю почему, но я догадался возразить, что ел артишок сырым; они согласились, что тогда это несколько менее смешно (но все же смешно). Возвращаясь к вопросу об утешении – **утешительно принадлежать к цивилизации, в рамках которой можно есть на завтрак что угодно без боязни показаться смешным**.<sup>1</sup> (Подчеркнуто мной – Д. Ч.)*

В современной гуманитаристике внимание ученых все сильнее привлекает связь кухни с национальной идентичностью, что инспирировано идеями т. н. «нового историзма»<sup>2</sup> и интересом культурной антропологии к трапезе как этнокультурной проблеме.<sup>3</sup> В русской науке с новым историзмом «встретилась» семиотическая школа с ее исследованиями знаковости всех элементов русской культуры, в том числе трапезы. Новая литературоведческая интерпретация связи кухня (трапеза) – идентичность в русской культуре ставит перед нами вопрос об соотношении жизнь – литература. Семиотические исследования часто прочитывают литературное произведение как иллюстрацию семиотизации определенных явлений русской культуры – например эстетизированной аристократической трапезы,<sup>4</sup> хотя последователей и сторонников русской семиотической школы, дистанцирующихся от концепции миметизма литературы, вдохновляет идея Ю. Лотмана о способности литературы творить жизнь, о жизни «по книгам» в русской культуре XVIII века.<sup>5</sup> В наше время русские «новые истористы» указывают на двунаправленность

---

<sup>1</sup> Успенский 2000.

<sup>2</sup> См. сборник Scholliers 1997.

<sup>3</sup> Этой проблеме посвящен отдельный номер журнала *Български фолклор*, № 3. 1998.

<sup>4</sup> См. Лотман – Погосян 1996.

<sup>5</sup> Лотман 1996.

связи жизнь – литература.<sup>6</sup> Обращаясь к концептуализации трапезы в русской литературе с точки зрения национальной идентичности, мы должны учитывать эту двунаправленность: как воплощение особенностей русской трапезы в творчестве русских писателей, так и утверждение литературой моделей отношения к трапезе (еде, питью) в бытовом поведении русского человека.

Как известно, в результате реформ Петра Первого в русской культуре утверждаются правила поведения за столом (включительно благодаря книг типа *Юности честное зерцало*, 1717 г.), что приводит к эстетизированию трапезы в дворянской культуре и ее превращению в своеобразный текст. Процесс европеизации России сопровождается и активным вхождением чужой (французской) кухни в быт русского дворянина. Этот процесс не может не вызывать ощущение утраченной идентичности, находящее выражение в оппозиции своя трапеза – чужая (европейская, французская) трапеза.

Концептуализация трапезы с точки зрения соотношения свое – чужое в русской литературе XIX века имеет свои корни в культуре / литературе XVIII века. Русские писатели эпохи Петра I, наряду с утверждением идеи европеизированного русского государства как «рая на земле» («русского Эдема»), противопоставляют свою трапезу и кухню французской и таким образом превращают поле гастрономии в поле идеологии, патриотического пафоса.

В поэзии В. Тредяковского образ скромной, простой трапезы вписывается в жанровую модель идиллии, при чем этому образу придаются русские черты, а своя и чужая культуры противопоставляются на основе качеств *простота* и *пышность*:

[...]

*Каплуны прочь, птицы африкански,  
Что и избрел роскошный смак;  
Прочь бургонски вина и шампански,  
Дале прочь и ты, густой понтак.*

*Сытны только щи, ломть мягкий хлеба,  
Молодой барашек иногда;  
Всеж в дому, в чем вся его потреба,  
В праздник пиво пьет, а квас всегда.*

*Насыщаясь кушаньем природным,  
Все здорово провожает дни;  
Дел от добрых токмо благородным,  
Не от платья и не от гульни.*

[...]

(Строфы похвальные поселянскому житию, 1752 г.)<sup>7</sup>

<sup>6</sup> См. Козлов 2001; Эткинд 2001.

<sup>7</sup> Тредяковский 1972, 115–116.

По этой линии идет и Г. Державин, который в конце XVIII века тоже использует в жанре идилии, в стихотворении *Похвала сельской жизни* (1798 г.), оппозицию своя трапеза – чужая трапеза, развивая образ русской трапезы и добавляя к нему дополнительные гастрономические детали – знаки русского:

[...]

*Бутылка доброго вина,  
Впрок пива русского варена,  
С гренками коновка полна,  
Из коей клубом лезет пена,  
И стол обеденный готов.*

*Горшок горячих, добрых щей,  
Копченый окорок под дымом;  
Обсаженный семьей моей,  
Сред коей сам я господином,  
И тут-то вкусен мне обед!*

*А как жаркой еще баран  
Младой, к Петрову дню блюденный,  
Капусты сочные кочан,  
Пирог, грездами начиненный,  
И несколько молочных блюд,-*

*Тогда-то устрицы, гу-гу,  
Всех мушелей заморских грузы,  
Лягушки, фрикасе, рагу,  
Чем откормляют нас француз,  
И уж ничто не вкусно мне.  
[...]<sup>8</sup>*

Русский характер «идеального топоса» в этом стихотворении упоминает Н. Мовнина.<sup>9</sup> Добавлю, что местный колорит присутствует еще в идилии италийского автора Саннадзаро конца XV века, но у Державина свой «идеальный топос» противопоставлен эксплицитно чужому, чем автор предлагает русскую интерпретацию анакреонтической и горадианской традиции. Нужно дополнить, что идилия Державина включает образ прислуживающих за столом «резвых рабов», входящий в конфликт с руссоистской идеей свободы – конфликт, остающийся вне сознания автора. Таким образом Державин вписывает идилическую трапезу в русскую социальную систему, придавая ей дополнительные русские черты, чей отрицательный знак неутрализован в семантической структуре произведения.

Оппозиция своя трапеза – чужая трапеза присутствует также в стихотворении *Евгению, жизнь званская* (1807 г.), в котором идилические мотивы переплетаются с темой русской государственной мощи. По сравнению с преж-

<sup>8</sup> Державин 1982, 167–168.

<sup>9</sup> Мовнина 2000.

ним произведением, в котором перечисление русских блюд лишено эпитетов, или эти эпитеты называют вкусовые качества предмета («горшок горячих, добрых шей»), образ трапезы здесь эстетизирован при помощи сравнения с цветником и нагромождения цветowych эпитетов, вызывающих в сознание читателя представление о натюрморте в стиле фламандской школы:

[...]

*Я озреваю стол – и вижу разных блюд*

*Цветник, поставленный узором.*

*Багряна ветчина, зелены щи с желтком,*

*Румяно-желт пирог, сыр белый, раки красны,*

*Что смоль, янтарь – икра, и с голубым пером*

*Там щука пестрая: прекрасны! (Подчеркнуто мной – Д. Ч.)*

[...] <sup>10</sup>

С. Аверинцев улавливает русский характер этого натюрморта, указывая и на другой прием эстетизации трапезы – на сопоставление пищи с драгоценностью.<sup>11</sup> Изображенная русская трапеза эксплицитно противопоставлена чужой своими качествами простой, здоровой пищи: [...] *взор манят мой, вкус; / Но не обилием иль чуждых стран приправой, / А что опрятно все и представляет Русь: / Припас домашний, свежий, здравый.*<sup>12</sup> Существенным элементом этой трапезы является тост в честь царской семьи (*За здоровье с громом пьем любезного царя, / Цариц, царевичей, царевен*), который бесконфликтно следует за «шуточной беседой». Связь темы русской трапезы с патриотической темой реализована и в стихотворении *Крестьянский праздник* (1807 г.), в котором трапеза получает значение 'пир'. В контексте пира акцент поставлен не на описание русских блюд, а на семантическую связь питье – богатырский акт: *Гуляй, удача голова!; Все братцы, в свете трын-трава; Купайтесь по уши в чанах.*<sup>13</sup> На стилистическом уровне русский характер придают пиру непередаваемые фразеологизмы пир горой, трын-трава. Но в стихотворении Державина полная отдача опьянению неутрачивается утверждением разума, оппозицией пьянство – трезвость. В самой композиции произведения число стихов во фрагменте, в котором развивается тема пира, и число стихов во второй части, функционирующей как антитеза первой, равно – по 30 стихов в каждой. Утверждение трезвости как антитезы пира осуществляется с помощью медицинских и религиозных аргументов: *Здоровью вредну, христианству / И разорительно вам всем.*<sup>14</sup> Ценность трезвости мотивирована дополнительно служением Родины как на ниве сохой и серпом, так и на

<sup>10</sup> Державин 1982, 196.

<sup>11</sup> Аверинцев 1996, 767.

<sup>12</sup> Державин 1982, 196.

<sup>13</sup> Державин 1982, 192.

<sup>14</sup> Державин 1982, 192.

поле битвы: *Ура, российские крестьяне, / В труде и бое молодцы!*<sup>15</sup> Чтобы постичь позицию Державина, нужно дополнить, что поэт связывает трезвость и с покорностью русского крестьянина перед помещиком, интерпретируя земную власть в соответствии с идеей ее сакральной сущности: *Пребудьте, не поднявши носу, / Любезны богу, господам.*<sup>16</sup> Но целостную интерпретацию русского пира в поэзии Державина невозможно вывести из одного произведения. Если в стихотворении *Крестьянский праздник* патриотизм и героизм связаны с трезвостью, то стихотворение *Кружка* (1777 г.) построено на семантической связи между пиром и героизмом, патриотизмом. Эта связь актуализирует значение 'пир' в слове *битва*. Утверждение русского пира содержит в тексте оппозицию наше – чужое (французское), при чем русский пир получает коннотацию 'простота', выраженную эксплицитно, а французская культура – 'коннотации 'искусственность', 'фальш' (содержащиеся в лексемах *жеманство* и *маскарад*):

[...]  
*Бывало, пляска, резвость, смех,  
 В хмелю друг друга обнимают;  
 Теперь на место сих утех  
 Жеманством, лаской угощают.  
 Жеманство нам прогнать пора,  
 Но просто жить  
 И пить:  
 Ура! Ура! Ура!*

*В садах, бывало, средь прохлад  
 И жены с нами куликают,  
 А ныне клоб да маскарад  
 И жен уж с нами разлучают;  
 Французить нам престать пора,  
 Но Русь любить  
 И пить:  
 Ура! Ура! Ура!*  
 [...]<sup>17</sup>

Осмысливание питья как богатырского акта находит выражение и в образах самих сосудов – в соотношении *кружка* – *ковш*, содержащее анти-тезу прошлое – настоящее: *кружка* – это «дщерь великого ковша, которым предки наши пили». <sup>18</sup> Двойственная семантическая связь между понятиями *рус-*

<sup>15</sup> Державин 1982, 193.

<sup>16</sup> Державин 1982, 192. Подобная идея присутствует в последней книге Гоголя *Выбранные места из переписки с друзьями*, в которой писатель, принявший роль проповедника, советует крестьян подчиняться помещику – позиция, вызвавшая гневное письмо Белинского.

<sup>17</sup> Державин 1982, 20.

<sup>18</sup> Детальный анализ сосудов для алкоголя в русской романтической поэзии см. у Ketchian 1996.

*ский пир* и героизм, патриотизм подсказывает синтез разных идей, кодов различных культурных моделей в творчестве Державина: трансформацию античного образа пира в соответствии с патриотическими идеями XVIII века, сочетание дионисиевского начала с русским богатырством, наряду с просветительским утверждением разума и служения государству.

Многозначность интерпретации трапезы в поэзии Державина дополняется семантикой этой детали в стихотворении *Фелица* (1782 г.). В нем простая русская трапеза интерпретирована как атрибут императрицы, а лирическому «я» приписано влечение к утонченной, эстетизированной трапезе, сочетающей свое и чужое, западное и восточное:

[...]  
 Или в пиру я пребогатом,  
 Где праздник для меня дают,  
 Где блещет стол серебром и золотом,  
 Где тысячи различных блюд;  
 Там славный окорок вестфальской,  
 Там звенья рыбы астраханской,  
 Там плов и пироги стоят,  
 Шампанским вафли запиваю;  
 И все на свете забываю  
 Средь вин, сластей и аромат.  
 [...] <sup>19</sup>

Своей интерпретацией наслаждения эстетизированной трапезой, в которой «встречаются» и сожительствоуют бесконфликтно свое и чужое, Державин кладет начало традиции, которую продолжит Пушкин. Но в рамках жанра оды большой поэт XVIII века осмысливает наслаждение как порок лирического «я», противопоставляя его влечение к гастрономическим и эротическим наслаждениям идеализированному образу императрицы, которой приписывает аскетизм (*Таков, Фелица, я развратен*).

Целостный образ трапезы в творчестве Державина полагает начало множества тенденций, которые найдут свое продолжение в русской литературе первой четверти XIX века и которые окажутся устойчивыми в русской концептуализации трапезы, а шире – в русской картине мира.

В русской романтической лирике первой четверти XIX века развивается тема русского пира. Русский характер придает этому пиру семантическая связь пир – патриотизм, наряду с коннотациями ‘любовь’, ‘свобода’, ‘веселие’, устойчивыми в т. н. антологической лирике, отсылающей к традиции Анакреона. В стихотворении Н. Языкова *Песня* (1827 г.), как у Державина, участники пира поднимают тост за Россию: *Мы пируем пир веселый / И за Родину мы пьем.*<sup>20</sup> В картину пира в чужой стране вписывается образ едине-

<sup>19</sup> Державин 1982, 36.

<sup>20</sup> Языков 1982, 116.

ния с немцами вином – образ, содержащий коннотации ‘естественность’, ‘дружелюбие’, ‘душевная широта’: *Благодетельною силой / С нами немцев подружило / Откровенное вино.*<sup>21</sup> Эпитет «откровенно» как определение вина вносит новые, неожиданные коннотации в семантику вина, присущую романтической поэзии – этот эпитет не входит в число устойчивых эпитетов антологической лирики: *искрящее, ароматное, светлое, златистое, чистое.* Мотив «откровенного», непосредственного общения с немцами в сфере пира снимает оппозицию русская трапеза – европейская трапеза и напоминает образ естественного немца в *Письмах русского путешественника* Карамзина. Но текст Якова не диалогизирует с «литературным путешествием» Карамзина, а с внелитературным «рядом» общения между русскими и немцами в Дерпте – общение, которое, со своей стороны, ритуализировано по литературной модели дружеского пира.

Связь пира с героизмом и патриотизмом является устойчивым мотивом в лирике поэта-гусара Дениса Давидова. В сфере гусарского пира лирический «я» свободен, естествен, неудержим, храбр. В стихотворении *Бурцову* (1804 г.) присутствует знакомый с поэзии Державина мотив питья как богатырского акта и следование традиции предкам: *Наливай обширны чаши / В шуме радостных речей, / Как пивали предки наши / Среди копий и мечей.*<sup>22</sup> Важным элементом этого мотива является выражение «пунш жестокий» из стихотворения *Гусарский пир* того же года. Осмысливание питья как богатырского акта становится русским понятием, а литературная мифологизация этого понятия доутверждает его в сознании русского человека, о чем свидетельствует его устойчивость, а также его гиперболизация в литературе XX века.<sup>23</sup> Связь пира с героизмом во имя Родины доутверждается в тексте стихотворения *Бурцову* метафорой *пир – битва*: *Саблю вон – и в сечу! Вот / Пир иной нам бог дает, / Пир зазорней, удалее, / И шумней, и веселее.*<sup>24</sup> Пьянство в поэзии Давыдова – основной атрибут гусара, воина, наряду с усами, саблей и конем. В стихотворении *Песня* (1815 г.) эти детали поставлены в один синтаксический и семантический ряд: *Сабля, водка, конь гусарской, / С вами век мне золотой!*<sup>25</sup> Дополнительным знаком русскости в этом образе пира – русские алкогольные напитки: *водка, горелка.* В тексте стихотворения патриотическая тема развивается и оппозицией между русским офицером – богатырем в пиру – и французом: *Пусть французишки гнилые / К нам пожалуют*

<sup>21</sup> Языков 1982, 116.

<sup>22</sup> Давыдов 1974, 128.

<sup>23</sup> Осмысливание пьянства как богатырского акта особенно ярко выражено в повести В. Ерофеева *Москва – Петушки.*

<sup>24</sup> Давыдов 1974, 129.

<sup>25</sup> Давыдов 1974, 130.

назад!<sup>26</sup> Создавая ореол гусарского пира и осмысливая его как настоящий русский пир, Д. Давыдов «исключает» из него такие реалии русской трапезы как щчи и печка. В стихотворении *Полусолдат* (1826 г.) эти русские реалии интерпретируются как знак домашнего уюта, пространства ненастоящего солдата: *Нет братицы, нет: полусолдат / Тот, у кого есть печь с лежанкой, / Жена, полдюжины ребят, / Да щи, да каша с запеканкой.*<sup>27</sup> Пушкин со своей стороны, создавая образ трапезы в своем стихотворении *Послание к Юдину* (1815 г.), вписывает русское блюдо *щчи* в этот образ, наряду со *щукой*, *хлебом* и *солью*, *вином*. Стихотворение создано по модели идилии, включающей оппозицию цивилизация – природа, при чем русская трапеза концептуализируется как элемент «естественной среды»:

[...]  
 Но вот уж полдень. В светлой зале  
 Весельем круглый стол накрыт:  
 Хлеб-соль на чистом покрывале,  
 Дымятся щи, вино в бокале,  
 И щука в скатерти лежит.  
 [...]<sup>28</sup>

В текст введены мифологические имена и имена античных авторов, означающих утопию «золотого века» (Флора, Вакх, Гораций), но они не отрицают русского характера изображенного идилического мира (и в частности трапезы), а вписывают его в пространство русской деревни. Этой своей интерпретацией трапезы и вообще идилической деревенской жизни как «русской» Пушкин попадает в русло на традиции Державина. Превращение идей, отсылающих к разным чужим культурным и литературным моделям, в русские идеи, подсказывает, что «перевод» чужой традиции возможен только в случае, что она созвучна со спецификой родной культуры.

Интерпретацию трапезы как знак русской идентичности можно проследить в русской литературе всего XIX века, на основе самых представительных произведений русских классиков. Здесь представлю в тезисном виде выводы наблюдений над развитием темы русской трапезы в этих произведениях (подробный их анализ осуществлен в другом тексте<sup>29</sup>).

В романе Пушкина *Евгений Онегин* изображен диалог русской культуры с чужой культурой в сфере кухни и трапезы, при чем усваивание чужого лишено отрицательного знака. В художественном мире поэта ореол эстетизированной аристократической трапезы и апология дружеского пира, сбли-

<sup>26</sup> Давыдов 1974, 130.

<sup>27</sup> Давыдов 1974, 134.

<sup>28</sup> Пушкин 1974, т. 1. 397.

<sup>29</sup> Этот текст является частью монографии на тему «Понятие естественность и автопортрет русского в русской литературе XIX века».



жающего творчество и любовь с вином, сочетается с утверждением ценности русской народной трапезы (*У них на Масленице жирной / Водились русские блины*) в созвучии с семантической связью *Русь – rus*.

В романе Гоголя *Мертвые души* находит эксплицитное выражение отрицание французской кухни, при чем французская культура осмыслена как некультура («едят лягушки»). Несмотря на то, что эта точка зрения подана в гротесковом плане и приписана Собакевичу, противопоставление русской простой и здоровой пищи французской близко и позиции имплицитного автора. Гоголь вписывает образ обильной пищи и в модель утопии – в описании Печуха во втором томе романа. (О связи описания со *Сказанием о роскошном житии и веселии пишет С. Гончаров* – Гончаров, 1997). Хотя тема еды и питья в творчестве Гоголя устойчиво присутствует в литературоведении, наше внимание может привлечь поэтика кулинарного рецепта в упомянутом описании, сочетание наслаждения словом, называющим пищу, с наслаждением самой пищей.

Объектом интереса литературоведов является и образ трапезы в романе Гончарова *Обломов*, и прежде всего мифологический код в описании еды из сна Обломова. Эти наблюдения можно дополнить наблюдениями над описанием обеда в Ильин день, сочетающим разнородные знаки: христианскую символику трапезы, элементы эстетизированной аристократической трапезы, мифологическое значение ‘плодородие’ из семантики Громовержца (имя героя *Илья* остается обычно на втором плане в исследованиях произведения, вытесненное интересом к фамилии *Обломов*). Дополнительные значения раскрывает перед новым прочтением текста и метафора *любовь – пища* в описании Пшеницыной.

В романе Толстого *Анна Каренина* эстетизированная аристократическая трапеза из описания обеда Стивы Облонского и Левина в ресторане – описания, подсказывающего слияние гастрономического и эротического наслаждения в восприятии Стивы – интерпретирована с точки зрения руссоистского идеала.

Особый ракурс к теме русской трапезы содержит повесть Н. Лескова *Шерамур*, в которой описание страсти героя к еде и доминирующего желания накормить других содержит стилистический контраст между снижающими лексемами «герой брюха», «жрать», воплощающими точку зрения непонимающего, непрозорливого современного воспринимающего, и христианским кодом («пир Лазаря», «юродивый»), христианскими ценностями.

В итоге можно заключить: русская литература не только включает в свой фикциональный мир образ трапезы, но идеологизирует это явление, приписывая ему русские черты и противопоставляя русскую трапезу чужой (западной) на основе естественности; русская литература не только воплощает образ реальной трапезы русской культуры, но мифологизирует ее и создает

модели поведения – доказательством чего можем открыть в современной социокультурной ситуации, когда эстетизация аристократической трапезы сочетается с утверждением русской естественности в этой сфере в соответствии с дилемой Россия – Запад. В этот контекст вписывается книга Вайля и Генниса *Русская кухня в изгнании* (1998 г.), в которой, по словам одного из ее рецензентов, сочетаются «воспоминания эмигрантов о Родине с культурологическим исследованием и поэмой».<sup>30</sup> В поисках национальной идентичности русский интеллигент переосмысливает все сферы национальной культуры, в том числе трапезу.

#### ЛИТЕРАТУРА

- Аверинцев 1996 – Аверинцев, С. Поэзия Державина // *Школа «Языки русской культуры»*. т. 4. *Из истории русской культуры*. Москва.
- Вайл – Геннис 1998 – Вайл, П. – Геннис, А. Русская кухня в изгнании // *Независимая газета*. Москва, 1998.
- Давыдов 1974 – Давыдов, Д. Бурцову. Гусарский пир. Песня. Полусолдат // *Русская поэзия XIX века в двух томах*. т. 1. Москва.
- Державин 1982 – Державин, Г. Похвала сельской жизни. Евгению, жизнь званская. Крестьянский праздник. Кружка. Фелица // *Стихотворения*. Москва: Советская Россия.
- Козлов 2001 – Козлов, С. Наши новые историки // *Новое литературное обозрение* 50.
- Лотман 1996 – Лотман, Ю. Литература в контексте русской культуры // *Школа «Языки русской культуры»*. т. 4. *Очерки по русской культуре XVIII века. Из истории русской культуры (XVIII – начало XIX века)*. Москва.
- Лотман – Погосян 1996 – Лотман, Ю. – Погосян, Е. *Былой Петербург. Великосветские обеды*. Санкт Петербург: Пушкинский фонд.
- Мовнина 2000 – Мовнина, Н. Идеальный топос в русской поэзии конца XVIII – начала XIX века // *Русская литература* 3, 19–36.
- Пушкин 1974 – Пушкин, А. Стихотворения 1813–1824 г. // *Собрание сочинений в десяти томах*. т. 1. Москва: Художественная литература.
- Тредяковский 1972 – Тредяковский, В. Стихи похвальные поселянскому житью // *Русская поэзия XVIII века*. Москва.
- Успенский 2000 – Успенский, Вл. Лермонтов, Колмогоров, женская логика и политкорректность // *Неприкосновенный запас* № 6 (14), 5. XI. 2000 г.
- Эткинд 2001 – Эткинд, А. Новый историзм, русская версия // *Новое литературное обозрение* 47.
- Языков 1982 – Языков, Н. *Стихотворения*. Москва: Советская Россия.
- Ketchian 1992 – Ketchian, S. Drinks and Their Vessels in Nineteenth Century Russian Poetry (Davydov, Pushkin, Jazykov) // *Russian Literature* XV–III. 1. X. Amsterdam.

<sup>30</sup> Давыдов: [old.russ.ru/journal/kniga/98-04-04/david.htm](http://old.russ.ru/journal/kniga/98-04-04/david.htm)

Scholliers 1997 – Scholliers, P. (Ed.) *Food, Drink and Identity: Cooking, Eating, and Drinking in Europe since the Middle Ages*. [Пища, алкоголь и идентичность: кулинария, еда и питье в Европе эпохи Средних веков.] New York: Berg.